

СУДЬБА НАРОДА, СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ ВОЕННЫХ ЛЕТ (1941–1945)

© 2005 Т.А. Никонова

Воронежский государственный университет

Известно, что русская литература всегда была народоцентричной. С народным благом соотносилась ее ценностная система, выстраивалась поэтика, отношением к народу определялся герой в общественном восприятии. Вместе с тем понятие “народ” всегда было из числа дискутируемых. Для литературы XIX века синонимом слова “народ” был “крестьянин”, как бы по-разному он ни изображался. Достаточно вспомнить героев рассказа И. Тургенева “Хорь и Калиныч”. Однако тем же И. Тургеневым и мечтательный Хорь, и хозяйственный Калиныч оцениваются как фигуры, имеющие равное право представлять “народ”.

Советская литература, оперировавшая в основном уже классовыми категориями, восприняла от русской классики традицию народоцентризма, но с существенной поправкой. Поскольку крестьянство с точки зрения революционной активности оценивалось как мелкобуржуазное, то единый “народ” в 1920-е годы заменило общепролетарское “мы”, в котором господствовало общее, революционно целесообразное. Общее диктовало масштабные задачи, патетическую интонацию, маршевые ритмы, “книжную”, высокую лексику. Все вместе это складывалось в общую динамическую картину движения к общей цели, лишенной даже намека на трагическое, ибо социальный оптимизм состоял в утверждении исторически неизбежного наступления всеобщего счастья. Таким образом, советская литература накануне Великой Отечественной войны в целом была литературой футурологической устремленности, когда желаемое будущее рисовалось как достигнутое настоящее (см., например, знаменитую 19 главу поэмы В. Маяковского “Хорошо!”).

Первым нарушением концептуальных положений социалистического реализма стала мысль о трагическом, естественно возникшая в первые же дни войны. “...Война только открыла глаза, что сущность — в страдании” [5, 304]. В соответ-

ствии с этим в русской литературе произошло смещение временных пластов: настоящее стало средоточием трагических испытаний. На первых порах это были естественные для советского писателя отсылки к недавнему прошлому, еще вчера воспринимавшиеся как зов в будущее.

*...И вновь Литейный — зона
фронтовая.
Идут войска, идут — в который раз! —
туда, где Ленин, руку простирая,
на грозный подвиг призывает нас [3, 107].*

Стоящая под стихотворением дата — 22 июня 1941 года — показывает, что О. Берггольц пока во власти привычной риторики, когда важен не смысл, а некий порядок появления слов: идеологически выверенные стихи требовали определенного набора лексики, нередко в ущерб смыслу.

*Так шли в Семнадцатом —
к тому ж вокзалу,
в предчувствии страданий и побед.
Так вновь идут.
И блещет с пьедестала
неукротимый Ленинский завет [3, 108].*

Экспрессия заменяет явную неточность в выборе слов; сложение времен — настоящего и прошлого — по-прежнему является футурологической формулой советской литературы. Однако скоро в сознание поэта входят иные интонации, иные герои.

*Дарья Власьевна, соседка по квартире,
сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своем.*

*Вот мы прожили почти полгода,
полтора ста суток длится бой.*

Тяжелы страдания народа - наши, Дарья Власьевна, с тобой [3, 130].

Не декларативное, самой судьбой продиктованное единение с народом, не книжным, а близким и понятным, как поэту, так и Дарье Власьевне, определяет позицию О. Берггольц, делая ее глубоко личностной. Сходное находим в дневнике М. М. Пришвина: “Вот это то самое “сейчас” (то есть “довлеет днени злоба его”) требует от моей совести писателя сейчас, во время такой войны, полной связи духа с такой “злобой” в том смысле, что я, как писатель, то есть свидетель нашего “сейчас”, давал бы об этом “сейчас” информацию в *вечность*” [5, 303] (курсив мой. — Т. Н.).

Война сразу высветляет, проявляет онтологические смыслы в привычных понятиях — *народ*, *сейчас*, *вечность*. Настоящее теперь позиционируется как часть русской истории. И это совершенно естественное, привычное на фронтовых дорогах ощущение себя на пороге бытия. Между жизнью и смертью поставлен не только человек, но и его родина. Это сближает и уравнивает их судьбы. У С. Наровчатова читаем:

*В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал,
Я в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал [4, 81].*

Расширяя судьбу человеческую до масштабов Отчизны и ее истории, война, с другой стороны, сжимает ее до мгновения человеческой жизни.

И между этими двумя полюсами — русской историей и мигом — располагалась жизнь солдата, которая одна и была залогом будущего. В нем — до предела сконцентрированная человеческая жизнь, максимальная скорость и напряжение ее проживания.

*Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить,
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить [4, 85] (курсив мой. — Т. Н.).*

“Полмига” П. Шубина равны “веку” и в прямом, и в переносном смысле: единицей измерения стала человеческая жизнь. Чрезвычайно уплотнившееся время заставляет и жить, и думать иначе. “Теперь даже один наступающий день нужно считать как *все время*”, — записывает М. Пришвин в дневнике 1941 года [5, 313]

(курсив Пришвина. — Т. Н.). “Все время” контекстуально семантизируется как *жизнь*, как *вечность*, вполне перекликаясь с присущей войне онтологизацией быта. Однако это не перевод быта в миф, подобно тому, что мы наблюдаем в традиционном мифологическом миропредставлении или в его литературных эквивалентах. Начнем с того, что мифологическое миропредставление предполагает равновесие *жизни* и *смерти*, их если не разумную, то умопостигаемую сменяемость. Это естественно-трагический ход развития всего сущего, имеющего в своем “запасе вечность”. Война вторгается в этот размеренный мировой порядок, обозначаясь динамизацией самого жизненного ритма, почти осязаемого, зримого приближения смерти, и уже не в литературе. Свертывание “века” в “миг” уничтожает заложенную в *жизни* разумную длительность, цикличность и соразмерность частей. Человеческая жизнь обретает стремительность прямой, прессируя все, что должно естественным образом стать ее содержанием. Таким образом в череде *жизни* и *смерти* во времени войны появляется трагическая неполнота, невозможность восполнения, временной провал длиной в человеческую жизнь. Это ощущение в первую очередь становится достоянием поэтов-фронтовиков. Суммируя их непростые переживания, раннюю зрелость, в поколении воевавших С. Гудзенко отметит житейски значительное отношение ко всему происходящему: ушедших не вернуть, как не возместить оставшимся в живых недожитое. Это жесткая реальность войны, которую может принять лишь зрелое сознание. Живое остаётся живым. Меньше всего фронтовики хотели бы переложить на плечи оставшихся обременяющую память о себе. Только с этих позиций можно верно понять первую броскую строку стихотворения С. Гудзенко “Мое поколение”: “Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели”. Однако такое заявление и гражданская зрелость не исключают трагической глубины памяти:

*Кто вернется — долюбит. Нет!
Сердца на это не хватит,
И не надо погибшим, чтоб живые любили за них.
Нет мужчины в семье — нет детей,
нет хозяина в хате.
Разве горю такому
помогут рыданья живых? [4, 129].*

Мужественное осознание того, что никогда никому не может быть воздано по вкладу его, — одна из форм противостояния войне. В каждой войне есть “безымянные герои” — истинную цену этому успокоительно-красивому определению знает лишь воевавший.

*Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:*

*Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать [7; 1, 428].*

Почему же герой стихотворения А. Твардовского “Я убит подо Ржевом” считает, что живые должны знать и не противоречит ли это сказанному выше? Нисколько, потому что только *память* делает людей живыми. Без трагической памяти войны человеческая жизнь теряет свою истинную цену. Вот почему и Н. Майоров, поэт из поколения не вернувшихся, как и герой А. Твардовского, уверен:

*Пусть помнят те, которых мы не знаем:
нам страх и подлость
были не к лицу.
Мы пили жизнь до дна
и умирали
за эту жизнь,
не кланяясь свинцу [4, 23].*

Война рождала чувство осознанного ей противостояния, сопротивления ее уничтожающей природе. И как показывает литература военных лет, это было очень личностное чувство, формирующее человека: твоя смерть оказывалась возможностью жизни для других. Сходную мысль запишет в своем дневнике и М. Пришвин, писатель из поколения не воевавших: “Наша индивидуальная смерть чрезвычайно редко совпадает с концом *дела всей нашей личности* или торжеством нашего бессмертного начала” [5, 305] (курсив мой. — Т. Н.).

Народ, вышедший на защиту родного дома, не может состоять из безымянных солдат, рядовых исполнителей. Война как общенародное дело не умалила, но укрупнила человеческую личность прежде всего в собственном сознании каждого. “Только теперь начинаю понимать, что этот народ не есть какой-то видимый народ, а сокровенный в нас самих подземный, закрытый тяжелыми пластами земли огонь <...> свидетельствующий о человеке” [5, 319–320]. Именно этот огонь освещает “Моё поколение” С. Гудзенко, пробивается в стихах Н. Майорова, получает *имя* в поэме А. Твардовского.

*Я забыть того не вправе,
Чем твоей обязан славе,
Чем и где помог ты мне.*

*Делу время, час забаве,
Дорог Теркин на войне [7; 2, 123]*

Теркин — это не имя подвига, это имя *целовека*, самостоятельно принимающего решения (“Ну, война — так я же здесь!»), хорошо понимающего молодых, необстрелянных бойцов, умеющего посочувствовать потере, понять вину и горечь отступающего солдата, который

*...шел... серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату,
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог! [7; т. 2, 134–135].*

Не декларированное, а глубоко личностное единство со своими соотечественниками чувствовал А. Твардовский и его труженик-солдат, воспринимавший русскую историю как историю своей семьи. Невозможно себе представить появление в предвоенные годы главы “Два солдата”, в которой, как отец и сын, встречаются солдат Первой мировой (“германской”) и Отечественной войн. Начало их взаимопонимания — в едином образе жизни, в быте. Мастеровой Василий Теркин завоевывает доверие старика тем, что налаживает его “завалившую пилу”:

*Так-то ладно. Так-то складно
У него в руках прошла.*

*Обернулась — и готово.
На-ко, дед, бери, смотри,
Будет резать лучше новой,
Зря инструмент не кори [7; т. 2, 182].*

Так же легко, играючи, он находит путь к сердцу старухи-хозяйки, починив часы, “что с той войны еще стоят...».

“С той войны” — это счет времени, который ведет семья солдата забытой в советские годы “германской” войны. Не были в почете у советской власти даже георгиевские кавалеры, если они, конечно, не становились чапаевыми или буденными на полях гражданской. Для А. Твардовского же оба солдата герои уже по одному тому, что у них одна задача — защита отечества. Сколь бы шутивным и окольным не было выяснение их солдатского родства, суть остается одной.

*В поле вьюга-завируха,
В трех верстах гремит война.
На печи в избе — старуха.
Дед-хозяин у окна (7, т. 2, с. 188).*

Это и есть “глубина родной России”, которую защищает Теркин. Защищает тех, кто уже себя защитить не может. Это и есть его страна, его история.

Отечественная война, ее глубинный личностный характер заставили по-новому увидеть различия с официальными трактовками, вызревшими в потаенном сознании литературы суровых предвоенных лет. Так, героиня «Реквиема» А. Ахматовой, поэмы, не опубликованной, но написанной в 1930-е годы, перенесла то, что выпало на ее долю, смогла переосмыслить, освободить от плена “книжности” понятие *народ* в нечто телесно близкое — “люди”. Такое чувство родства по-новому осмысливается в годы испытаний. В страдании человек идет не к абстрактному “народу”, но к людям, способным разделить его боль. И если мы с этой позиции посмотрим на «легальную» литературу 1930-х годов, то заметим и в ней сходные мотивы. Не только героиня поэмы “Реквием”, проведшая в скорбных очередях “ежовщины” “триста часов”, захочет назвать поименно подруг своих “осатанелых лет”. К мужику Никите Моргунку за разрешением своих противоречий обратится А. Твардовский в “Стране Муравии”, не случайно вспомнив в годы коллективизации утопическую страну крестьянского изобилия. Литература военных лет продолжила эту внешне незаметную — на фоне шумной официальной — тенденцию развития русской литературы, в глубине своей идущей к человеку. Она же заставила иначе, чем это было принято в военные годы, посмотреть и на ближнюю историю XX века. Оказалось, не только А. Твардовский или А. Ахматова понимали, что у народа есть *одна*, не делимая на “истинные” и “не истинные” периоды история. Ни чем иным, как желанием *объединить* русскую историю в единый процесс, нельзя объяснить переосмысление А. Толстым в статье 1941 года характера гражданской войны. Хорошо знакомый с устоявшимися классовыми трактовками русской истории советского времени, в статье “Что мы защищаем” он пишет: “В *отечественной* войне девятьсот восемнадцатого-двадцатого годов белые армии сдавали со всех сторон нашу страну...” [8, 139] (курсив мой. — Т. Н.). Это не оговорка публициста, но попытка увидеть революционные события в России в историческом, а не только классовом контексте: “Наш народ прежде понимался на борьбу, хорошо понимая, что спасибо ему за это не скажут ни царь, ни псарь, ни боярин. Но горяча была его любовь к своей земле, к неласковой родине своей, неугасимо в уме его горела вера в то, что настанет день справедливости, скинет он с горба всех захребетников, и земля русская будет его землей, и распашет он ее

под золотую ниву от океана до океана” [8, 139].

Не забудем также и о том, что накануне Отечественной войны в советском литературоведении были предприняты первые попытки создания *истории* советской литературы, которая была соотнесена с особенностями освободительного движения в России, начало которого — в дореволюционном периоде. И это уже был серьезный шаг в сторону от левацких интернационалистских теорий истории и культуры. Лишь в поле русской традиции время Отечественной войны могло быть понято как продолжение того пути, который был начат если не в 1914, то уж точно в 1917 году.

“Сейчас идет война всего земного шара, потому что в беде, постигнувшей нас, весь мир виноват. В этом и есть историческая задача большевиков — вскрыть язвы всего мира и нужду в спасении сделать всеобщей [5, 315]. А это уже запись “для себя”, не для печати, сделанная М. Пришвиным, находящимся вне привычной советской риторики и называющей преобразователей России так, как это было принято в годы военного коммунизма — большевиками. События 1941 года не могли не включаться им в единый скорбный ряд XX века, начало которого — 1914 год. У всего мира, с точки зрения М. Пришвина, общая беда и общая вина, определившая жизнь человека в XX столетии.

Разумеется, мысль о катастрофическом периоде в развитии если не человечества в целом, то Европы, принадлежит не только М. Пришвину, и возникла она не в 1940-е годы. “XX век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как XIX начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют”, — свидетельствовала и А. Ахматова [2, 248], в центр осмысления столетия ставя неразумную человеческую деятельность, лишь внешне направленную на разрешение противоречий. Не забудем, что Венский конгресс 1814–1815 годов завершил эпоху наполеоновских войн, обозначил победу коалиции европейских держав, определил политическое и нравственное содержание рубежа XVIII и XIX столетий. И весь XIX век накапливались новые мировые противоречия, чтобы разрешиться новыми союзами, коалициями, альянсами, а в результате — новыми войнами, в которые оказалась втянутой Россия, без учета ее национальных интересов.

“Оговорки” А. Толстого, записи М. Пришвина можно было бы считать казусом, однако обращает на себя внимание, что единым настроением-размышлением объединены и публичные выступления, и записи “для себя”. Мысль о глубинных истоках войны 1941–1945 годов стала в значительной степени и “социальным” заказом.

Необходимо было объединить интернационалистский характер довоенной идеологии с патриотической настроенностью тех, кто защищал родную дом. “Русское” и “советское” должны были стать синонимами. Вот почему в статьях наиболее популярного в годы войны публициста И. Эренбурга, в целом последовательного проводника официальной идеологии, мы читаем о том, что “война кровью связала все чаяния русской интеллигенции, ее любовь к прогрессу и демократии, историческую связь России с трагедией порабощения славянских народов, заветы “западников” и “славянофилов”, Октябрьскую революцию и историю России” [9, 21].

Меняется не только исторический контекст, но и аргументация, характер мотивировки. “Война для нашего народа не вскрик, но долгая и тягучая песня ... война у нас доходила до сознания народа только как защита родной земли. Так было при Наполеоне. Так случилось и теперь” [9, 52]. И надо сказать, что эти идеи, эта лексика весьма далеки от тех, какие формировали советскую идеологию после 1917 года. Отказ от отечественной истории в пользу “страны-подростка” (В. Маяковский) как-то не приходит на память ни А. Толстому, ни И. Эренбургу. Октябрьская революция осмыслена как патриотическое деяние, как часть истории России. И даже то, чем всегда гордилась советская идеология — новый человек, первое поколение советских людей — было переосмыслено в первые же месяцы войны. Это о них, романтиках предвоенных лет, писал И. Эренбург: “...Для них война была первым грозным испытанием. Они увидели жизнь не в ее стройном развитии, но в катаклизме, в напряжении всех страстей, в обнаженности добра и зла, в благородстве и низости. Нелегко перейти из родительского дома в дзот, вместо школы оказаться в окопе. Но молодежь нашей страны выдержала испытание... Если на войне мы очень много потеряли, то обрели на войне нового и более высокого человека” [6, 70].

И. Эренбург всегда был чутким сейсмографом настроений общества, умелым истолкователем идеологических постулатов советского времени. Его тексты не вызывали прямого отторжения, как, например, выступления штатных идеологов-пропагандистов. Особой виртуозности он достиг в статьях военных лет, когда истины общечеловеческие, а нередко и житейские обстоятельства истолковывались как естественная часть советской доктрины. И в процитированном фрагменте мы находим подобные примеры. Обратим внимание на мысль о том, что советское молодое поколение на полях войны сделало для себя чрезвычайно важное открытие: жизнь развивается “не в ее стройном развитии” от “хоро-

шего к лучшему”, но в “катаклизме”. С одной стороны, в этой формулировке можно усмотреть и производное от сталинской доктрины обострения классовой борьбы по мере движения к социализму, но с другой, именно классовые формулировки оказываются не нужными Эренбургу для характеристики “нового и более высокого человека”. Он говорит об изменениях в мировосприятии фронтового поколения в категориях традиционного гуманизма — “обнаженности добра и зла, благородства и низости”. Война, оказывается, внесла существенный корректив в формирование “нового человека”, воспитанием которого была так озабочена советская идеологическая система. Её коррективы оказались весьма значимыми для будущего русской литературы. В первую очередь они коснулись первоосновы взаимоотношений реальности и искусства. Первенство идеи оказалось отторгнутым жизнью, той правдой, которую она несла. И мысль А. Твардовского о правде, “прямо в душу бьющей”, положенная им в основу поэмы “Василий Теркин”, определила глубинное развитие послевоенной литературы 1960-1980-х годов. Именно требование правды заставило сменить героя “книжного”, “правильного” реальными солдатами-окопниками в “прозе лейтенантов”, начиная с “Окопов Сталинграда” В. Некрасова, позже — послевоенной “безотцовщиной” Ф. Абрамова и “старинными старухами” В. Распутина. Поэзия же получила трагические строки “не вернувшихся”, свидетельства фронтового поколения, перед лицом которого особенно заметна любая ложь не только в произведениях о войне, но и во всей нашей жизни.

Мысль о духовном мужании народа и человека в огне Отечественной войны — едва ли не главная в послевоенной литературе, итожащая ее результаты. Четыре военных года спрессовали в себе такой запас духовной энергии, что его хватило не на одно поколение писателей. В. Распутин писал об этом в поздней повести “Пожар”: “...погибший на фронте взывал к справедливости и добру, оставлял их вместе с душой и воспоминаниями, живущими среди родных, и оставлял для движения и исполнения; сами того не подозревая, мы, быть может, лет двадцать после войны держались этим наследством погибших, их единым заветом, который мы по своей человеческой природе не могли не исполнить. Это свыше нас и нас сильнее”.

Прошли годы “оттепельных” обольщений нравственными возможностями человека, узнавшего правду о собственной истории. Ни общество, ни отдельный человек, использовав накопленный в грозные годы потенциал, не сумели выйти за пределы прежних представлений о мире,

о человеке. Нельзя сказать, что это болезнь только сегодняшнего дня. Неслучайно еще в 1960-е годы ухо поэта-фронтовика уловило в общественных интонациях новые модуляции, новые тенденции. Тревога продиктовала Б. Слуцкому стихотворение с внешне “газетным” названием “За ношение орденов!»

*Нет, у нас жестокая свобода
Помнить все страдания. До дна.
А война была
Четыре года.
Долгая была война [6, 262].*

Сегодня эти строки воспринимаются не только как напоминание. Это еще и вина перед погибшими, перед нашим прошлым за то, что как общество мы не распорядились военным опытом во имя будущего. Фронтовики, как и герой рассказа В. Астафьева “Ясным ли днем”, верили, “будто война эта последняя и ... увечья и муки тоже последние”: “Не может быть, думалось ему, чтобы после такого побоища и самоистребления люди не образумились. <...> Не смогли сделать, как мечталось... Все не смогли. Война таится, как пожар в загнете, и землю то в одном, то в другом месте огнем прошибает” [1, 582]. Не сумели люди употребить свою жизнь “только на добрые, разумные дела”, а значит, не смогли противостоять войне, розни в себе самих.

Тот же В. Астафьев заметил как-то, что в Великую Отечественную войну мы потеряли не

только тех, кто погиб на фронте, умер в блокаде, в эвакуации, в немецком плену. Мы потеряли и тех, кто от них никогда не родится. “Воронка” наших потерь уходит в завтрашний день, она все ещё расширяется. Разве это не наш “знак беды”? Драматизм современной ситуации усугубляется еще и тем, что война (реальная, “горячая”, не память о ней!) стала для нас не только прошлым. И в этой ситуации образ войны Отечественной, борьбы народа за себя, за свой дом и своих детей все еще остается живым, нравственно объединяющим началом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Астафьев В. Где-то гремит война / В. Астафьев. — М., 1975.
2. Ахматова А. Соч. соч.: в 2-х т. / А. Ахматова. — М., 1986. — Т.2.
3. Берггольц О. Избранные произведения: в 2-х т. / О. Берггольц. — Л., 1967. — Т.1.
4. Присягаем победой. — М., 1975.
5. Пришвин М. Дневники / М. Пришвин. — М., 1990.
6. Строки, добытые в боях: Поэзия военного поколения. — М., 1969.
7. Твардовский А. Собр. соч.: в 5 т. — М., 1966. — Т.1, 2.
8. Толстой А. Публицистика / А. Толстой. — М., 1975.
9. Эренбург И. Летопись мужества / И. Эренбург. — М., 1983.